



## **А. В. ДРУЖИНИН**

### **А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений**

#### **6**

<...>

Со времени «Полтавы» и «Бориса Годунова» начинается значительный разлад между Пушкиным и его ценителями, считая в этом последнем разряде и читателей, увлеченных близорукою, а иногда и недоброжелательною критикою. «Полтава», как это всем известно, была неблагосклонно встречена журналами; «Борис Годунов», не возбуждавший особенного негодования в журналах, подвергся несомненной холодности со стороны читателей. В обоих случаях русские критики того времени не выполнили своего долга: разборы «Полтавы» (даже похвальные) отличались детским незнанием дела; «Годунов» же, произведение важное, требующее разъяснений, пособий от критики публике, не имел даже и детских разборов. Нельзя достаточно надивиться этому обстоятельству. История Карамзина, жадно читавшаяся во всех сословиях, уже породила в то время страсть к родной старине; между литераторами двадцатых годов имелось много людей, способных, по мере своих сил, сказать необходимое слово о новом творении, стать посредниками между автором «Годунова» и нашей неопытною еще публикой: никто не помог Пушкину, никто не стал в посредники! «Сцена летописца», помещенная в «Московском вестнике» за 1827 год, возбудила одни какие-то ленивые прения о стихе белом и рифмованном, одно тщетное празднословие о понятиях старого инокa. Влияние подобных толков оригинально подействовало на живую натуру Александра Сергеевича. Он не озлобился, как поступил бы Байрон на его месте, не окинул своих ценителей олимпийски равнодушным взглядом Гёте, но на первых порах весь отдался откровенному, трогательному разочарованию. «Я каюсь в своих ошибках, — говорил он в одном письме, по-видимому, заготовляемом для печати. — Мне чудилось, что вкус публики, утомленный правильностью древних классиков и бледностью их подражателей, ищет новых ощущений в кипящих источни-

ках новой, народной поэзии... Но для чего писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка. Он должен владеть своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть своим языком, несмотря на грамматические оковы... Все это сильно поколебало мою авторскую уверенность; я начал подозревать, что трагедия моя есть анахронизм... Воспитанные в правилах французской критики, русские привыкли к правилам, утвержденным этою критикою, и неохотно смотрят на все, что не подходит под ее законы. Нововведения опасны и, кажется, не нужны...»

Переходя к частностям своего произведения, поэт выражается так: «Мне казалось, что характер Пимена вместе нов и знаком для русского сердца; что трогательное добродушие древних летописцев, столь постигнутое Карамзиным и отразившееся в его бессмертном творении, украсит простоту моих стихов и заслужит снисходительную улыбку читателя. Что ж вышло? Нашли мнения Пимена запоздалыми; другие сомневались, могут ли стихи без рифм назваться стихами. Г-н З. предложил променять сцену “Бориса Годунова” на картинку “Дамского журнала”. Тем и кончился суд почтеннейшей публики...»<sup>1</sup>.

Есть нечто возвышенно прекрасное во всех здесь приведенных заметках. Это не протест гордого певца, заносчивого, ставящего себя выше всех своих читателей, не вопль уязвленного самолюбия, а благородная жалоба благородного труженика, обманувшегося в своих надеждах и вдавшегося в минутную грусть, так знакомую сильным сердцам. Вы сознаете, что сказанная грусть — одно облако, что поэты, подобные Пушкину, не теряют своих сил от испытаний подобного рода.

## 7

«С “Бориса Годунова”, — сообщает нам автор “Материалов” для биографии Александра Сергеича. — Пушкин ушел в самого себя, распротился на время с прихотливым вкусом публики и ее требованиями, сделался художником про себя, уединенно творящим свои образы, как он вообще любил представлять художника». Сам поэт писал около этого времени: «Не имея более надобности заботиться о прославлении неизвестного имени и первой своей молодости, я уже не смею надеяться на снисхождение, с которым был принят доселе. Я уже не ищу благосклонной улыбки моды... Публика и критика расплатились со мной совершенно. С этой минуты их строгость или равнодушие будут иметь на мой труд только одно малое влияние»<sup>2</sup>. Чувство, под влиянием которого были начертаны только что приведенные строки, осталось за Александром Сергеичем на всю его жизнь, принося огромную поль-

зу его поэтическому дарованию и некоторый ущерб теоретическому взгляду самого поэта на родное искусство. В незрелости, детстве нашей критики Пушкин не хотел видеть никаких залогов к ее усовершенствованию, а вскоре и совсем перестал думать о критике. На сбивчивые и еще не выяснившиеся потребности публики Александр Сергеевич стал глядеть то слишком унылым, то слишком насмешливым взглядом. Об этом недостатке воззрений поэта мы еще скажем несколько слов, говоря о «Современнике» и о Пушкине как журналисте.

Но взамен того до какой степени плодотворна, роскошна, обильна благами и обильна надеждами была поэтическая деятельность Пушкина за указанное нами время! «Семиверстными шагами» шел наш поэт по пути творчества, и гибкий, многосторонний его талант производил чудо за чудом. В тиши сельского уединения, с счастливой любовью в сердце, посреди тревожных вестей о холере, в то время еще невиданной гостье, Александр Сергеевич в первый раз наслаждался сладостью труда в одно время и долгого, и ничем не прерываемого, и вполне успешного. Он зажился до глубокой зимы в своем нижегородском имении, не имея силы распротиться с порой вдохновения, хотя обстоятельства требовали его присутствия в столице. Но выезжая из села Болдина, он приготовил для печати последние главы «Онегина», «Домик в Коломне», «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Каменного гостя», «Пир во время чумы» да сверх того более тридцати стихотворений, между которыми надо отличить «Бесы», «Каприз», «Мадонна», «Расставанье», «Минувших лет угасшее веселье», «Странник» и «Первое подражание Данту» (*В начале жизни школу помню я*); о других произведениях, подготовленных в это же время, мы еще скажем несколько слов в свою очередь.

Критически всматриваясь в сущность здесь указанных творений, мы некоторым образом проникаем в тайник души Александра Сергеевича и, если будет позволено выразиться, в лабораторию его гения. На время отрешившись от света с его хлопотами, от литературных кругов, с их подчас странными требованиями, поэт остался наедине с своей мыслью и поэтами, им любимыми. Он читал много, читал с наслаждением, выписывая запасы книг из Петербурга и нетерпеливо поджидая их прихода. Он задумывался над прочитанным, делал отметки на страницах, выписывал в особые тетради то, что ему особенно нравилось, пробовал передавать русским стихом отрывки, особенно его волновавшие. Насколько мы можем догадываться вследствие некоторых указаний биографа, Пушкин у себя в деревне посвящал чтению все свободное время свое. Список вещам, перечитанным им за осень 1830 года, напоминает своей длиною список книг, читанных Онегиным. Наш поэт читал Шлегеля, Шиллера, Шекспира, Данта, Скотта, своего любимца

Монтеня; из новых французских поэтов — Гюго, Ламартина и Мюссе; впрочем, вся новая французская словесность была ему не только знакома, но и обсуждена им, может быть, с излишнею строгостью. Пушкин читал Вордсворта в то время, когда, может быть, во всей Европе (кроме Англии) человек десять читали Вордсворта, ныне столь прославляемого. Мильман, Вильсон, Кольридж, Берри-Корнвельс, поэты, или только что выступавшие на сцену, или только что входившие в известность, уже временами вдохновляли Пушкина; а на их темы он позволял себе фантазировать. Мало того, мы имеем полную причину думать, что наш поэт был знаком с творениями драматургов Елисаветинского периода<sup>3</sup>, предшественников Шекспира, по выпискам Лема<sup>4</sup> или по лекциям Гезлита<sup>5</sup>. Александр Сергеевич получал два предводительствующие (leading) обозрения: Quarterly и Эдинбургское<sup>6</sup>; знал их состав, следил за их полемикой и, рассуждая об основании критического журнала в России, указывал на них, как на образцы подобного издания. Сверх того Пушкину присылали большие запасы разных стихотворений на всех языках, ибо он считал необходимостью для каждого поэта — следить за трудами своих сверстников, где только было возможно. Итальянские, испанские, португальские, восточные поэты являлись в уединение нашего соотечественника в подлинниках и переводах, в отдельных изданиях, сборниках и даже хрестоматиях.

Нет сомнения, что Александр Сергеевич, получая и журналы, и новые книги, не был чужд литературных вопросов, занимавших за двадцать пять лет назад Францию, Англию и Германию, но равнодушие нашего поэта к критике, а может быть и простой случай, сделали то, что мы не имеем почти никаких заметок об этом предмете. Читая великобританские обозрения своего времени, он хорошо знал ход борьбы, тогда кипевшей между школой лекистов<sup>7</sup> и последователями Байрона, Скотта и Мура. Из его записок, мелких статей, заметок по поводу прочитанных сочинений мы изредка почерпаем выражения, явно заимствованные из светлых критических статей Джеффри<sup>8</sup>, шутливых рецензий Смита<sup>9</sup>, полувдохновенных, полувзбалмошных тирад Кольриджа. В высшей степени любопытно было бы знать, например, мнение Пушкина о поэзии лекистов<sup>10</sup>, об этом вопросе, который еще доньше не решен в Англии, а между тем уже успел обойти всю Европу, отразиться во всех литературах и, с разными видоизменениями, перейти и к нам в виде борьбы излишнего реализма с преувеличенной идеальностью, мысли — с картинностью, неясно понимаемой патетичности — с еще темнее понимаемой художественностью. Пушкин — наш Байрон и Скотт — должен был, после своей смерти, приобрести своего Вордсворта в Гоголе и лекистов особенного рода в людях, слишком отдавшихся гоголевскому направлению. К чести русской критики, столь

юной, но уже достаточно здравомыслящей, должно присовокупить, что у нас весь антагонизм в направлении Пушкина и Гоголя высказался весьма умеренным образом, волнуя только весьма небольшое число людей, из числа занимающихся литературой, и ни разу не высказываясь в выражениях, обидных для той или другой стороны. Но как огромны ни были занятия Пушкина по части изучения поэтов своих и чужеземных, как ни восприимчива была его счастливая натура ко всему новому, смелому, оригинальному, — наш автор по-прежнему двигался своим собственным путем, не увлекаясь ни одною из школ, тогда волновавших поэтические круги всей Европы. Грубый, растрепанный реализм юной Франции встретил в Пушкине строгого ценителя, что доказывается его статьями в «Литературной газете»; неестественная, единообразная простота лексиков, так сходная с простотою, которую некоторые кружки тщились и в наше время привить к русской словесности, не нашла в нем верного адепта. Остроумные филиппики Шлегеля не унизили в его глазах старой французской словесности, — между тем как ухищрения приторно многоречивой музыки Ламартина были, может быть, впервые разгаданы Александром Сергеевичем. Период тридцатых годов был периодом великого смятения во всей европейской поэзии; это знает всякий из наших читателей; а критика чужестранная, не имея детских сторон российской критики, сходствовала с нею по своей разноголосице. Пушкин стоял выше всех школ, выше всех советов, ибо верил в самого себя и в разум человеческий. С русской терпимостью и с русской снисходительностью он глядел на все вокруг него творившееся, и оттого взгляд его не был близоруким взглядом литературного фанатика. Пушкин, *более чем кто-либо из поэтов*, умел примирять противоположности и становиться выше всех скоропреходящих вопросов об искусстве.

Оттого-то так и изумляет нас тот период его поэтической деятельности, о котором здесь говорится. Сильный своими познаниями, убежденный в своей самостоятельности, смело и благородно взирая на жизнь во всем ее бесконечном разнообразии, поэт наш трудится, подобно истинному художнику в те минуты восторга, когда творец произведения становится сам себе лучшим судьбою. Ни заданной мысли, ни стремления провести какую-нибудь отвлеченную теорию не встретите вы в его созданиях. Увлекаемый натурою своею ко всему величавому, прекрасному, отрадному в жизни, он дает волю своей натуре и поет песни, от которых никогда не перестанет биться сердце русского человека. Он веселится, паясничает, влюбляется, плачет и трепещет с Дон-Жуаном; в лице Сальери развивает перед нами страдания честного, но завистливого труженика; в «Скупом рыцаре» переносит нас в фантастический мир средних веков; в «Пире во время чумы»



волшебною кистью рисует нам картину зачумленного города и оргию безумцев во время заразы. Все эти создания навеяны честным трудом; в них нет так хвалимой непосредственности; в них даже не имеется народности, но может быть есть нечто высшее. Прекрасно быть поэтом своей земли и своего края, но что может помешать человеку громадного дарования петь для всего света, переноситься в края и эпохи, почему либо кажущиеся ему поэтическими.

В наше время не найдется человека, который бы осмелился печатно упрекнуть Пушкина за названные нами создания, но между запоздалыми любителями ложного реализма, из числа слишком исключительных приверженцев Гоголя, людей, не способных разом глядеть на обе стороны вопроса, нам случалось встречать нескольких скрытых противников «Каменного гостя», «Моцарта и Сальери», «Сцен из рыцарских времен». «Для чего поэт брал предметы не из нашей вседневной жизни, — так мыслят эти лекисты нового времени, — из-за каких причин он облачал свою музу в парчу, сталь и бархат, показавши своими прежними трудами, что она хороша и в скромном платье Татьяны, и в еще простейшем, современном уборе? Для чего Пушкин черпал зародыши вдохновения из книг, хотя и знаменитых, зачем описывал он чуждые нам нравы, почему не глядел он вокруг себя и, опираясь на дарование свое, не возводил мелочных предметов в перл создания? В жизни редки Моцарты и Дон-Жуаны — ergo\*, поэт, их изображающий, изображает не жизнь, при всех своих достоинствах! Отчего он не шел тем путем, который после него указан был Гоголем — поэтом более сильным и оттого ближайшим нашему сердцу?» Так говорят почтенные лекисты, забывая то обстоятельство, что Пушкин не раз спускался в рудники, из которых добывал золото Гоголь, между тем как муза Гоголя не могла и не смела никогда заноситься на ту мировую высоту, куда был, во всякое время, свободный доступ музе Пушкина.

## 8

Прозаические произведения Александра Сергеича за указанный нами период стоят особенного внимания настоящих ценителей, и нам (может быть, мы и заблуждаемся) всегда казались странными журнальные отзывы об этих произведениях. Даже в «Материалах», нами разбираемых, г. Анненков как-то неохотно хвалит «Повести Белкина», упрекая их в бедности содержания и прибавляя, что в наше время нужна зоркость любителя для того, чтоб оценить их по достоинству. С таким отзывом мы согласиться не можем. «Повестей Белкина», по нашему мнению,

---

\* Следовательно (лат.).

не должен проходить молчанием ни один человек, интересующийся русской прозой. «Повести Белкина» были первым опытом Александра Сергеича в повествовательном роде; эти повести имели огромный успех в публике; а влияние, ими произведенное, отчасти отразилось чуть ли не на всех наших романах и повестях. «Повести Белкина» — книга увлекательная, прекрасная, светлая, как лучшие из глав, когда-либо написанных Гольдсмитом<sup>11</sup>, и, подобно лучшим страницам гольдсмитовых творений, уносящая своего читателя в мир ясных ощущений. Если нас восхищают поэты, знакомящие с смешною, темною стороной жизни, то по какому праву станем мы отказывать в нашей хвале писателю, раскрывающему перед нами другую сторону той же жизни — сторону спокойную, радостную и родственную душе нашей. Если мы по несколько раз с наслаждением перечитываем ссору Ивана Иваныча с Иваном Никифориным, «Нос», «Коляску» и другие повести в том же роде, то какое право имеем мы отказывать «Повестям Белкина» в содержании? Если Пушкин ласково смотрел на нашу сельскую жизнь и если шутка его была незлобива, то на каком основании смеем мы требовать от него сатиры и карающего юмора? Если Пушкин — человек, много испытавший в жизни, страдавший от клеветы друзей и обид холодного света, человек, боровшийся, раскаивавшийся, заблуждавшийся, проводивший бессонные ночи, ливший горькие слезы много раз в течение своей жизни, находит средство глядеть на жизнь с ясной приветливостью, — нам ли осуждать за это Пушкина? Скажем более, нам его надо любить именно за это. Счастлив человек, выносящий из жизненного опыта подобную незлобивость, подобную способность к улыбке, подобное радушие к людям, подобную зоркость взгляда на всю ясную сторону жизни! Иногда на идиллию надо иметь более сил, чем на драму в мизантропическом вкусе; очень часто сатира дается легче, чем милая шутка. Но мы пока еще не хотим признавать сказанной истины, ибо, по нашей насмешливой славянской природе, мы всегда готовы увлечься человеком, потешающимся на наш счет и не идущим в карман за жестким словом.

Один из современных литераторов выразился очень хорошо, говоря о сущности дарования Александра Сергеича. «Если б Пушкин прожил до нашего времени, — выразился он, — его творения составили бы противодействие гоголевскому направлению, которое, в некоторых отношениях, нуждается в таком противодействии»<sup>12</sup>. Отзыв совершенно справедливый и весьма применимый к делу. И в настоящее время, и через столько лет после смерти Пушкина его творения должны сделать свое дело. Изучая прозу Пушкина, его «Онегина», где изображен вседневный быт наш как городской, так и деревенский, его стихотворения, внушенные сельскими картинами, сельским бытом,

мы придем к началу того противодействия, той реакции, которая так нужна в текущей словесности. Что бы ни говорили пламенные поклонники Гоголя (и мы сами причисляем себя не к холодным его читателям), нельзя всей словесности жить на одних «Мертвых душах». Нам нужна поэзия. Поэзии мало в последователях Гоголя, поэзии нет в излишне реальном направлении многих новейших деятелей. Самое это направление не может назваться натуральным, ибо изучение одной стороны жизни не есть еще натура. Скажем нашу мысль без обиняков: наша текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением.

Против того сатирического направления, к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может служить лучшим орудием. Очи наши проясняются, дыхание становится свободным: мы переносимся из одного мира в другой, от искусственного освещения к простому дневному свету, который лучше всякого яркого освещения, хотя и освещение, в свое время, имеет свою приятность. Перед нами тот же быт, те же люди, но как это все глядит тихо, спокойно и радостно! Там, где прежде по сторонам дороги видны были одни серенькие поля и всякая дрянь в том же роде, мы любуемся на деревенские картины русской старины, на сохнувшие и пестреющие долины, всей душой приветствуем первые дни весны или поэтическую ночь над рекою — ту ночь, в которую Татьяна посетила брошенный домик Евгения. Самая дорога, едучи по которой мы недавно мечтали только о толчках и напившемся Селифане, принимает не тот вид, и путь наш кажется не прежним утомительным путем. Неведомые равнины имеют в себе что-то фантастическое; луна невидимкою освещает летучий мрак, малые искры и небывалые версты бросаются в глаза ямщику, и поэтический полет жалобно поющих дорожных бесов начинает совершаться перед глазами поэта. Зима наступила; зима — сезон от-мороженных носов и бедствий Акакия Акакиевича, но для нашего певца и для его читателей зима несет с собой прежние светлые картины, мысль о которых заставляет биться сердце наше. Мужичок с триумфом несет по новому пути на дровнях; на красных лапках гусь тяжелый осторожно ступает на светлый лед, собираясь плавать, скользит и падает к полному своему изумлению. Буря мглою небо кроет, плача, как дитя, завывая зверем и колыхая солому на старой лачужке, но и в диком вое зимней бури с метелью таится своя упоительная поэзия. Счастлив тот, кто может отыскать эту поэзию, кто славит своим стихом зиму с осенью и в морозный день позднего октября сидит у огня, воображением скликая вокруг себя милых друзей своего сердца, верных лицейских товарищей и воздавая за их дружбу сладкими песнями, не помня зла в жизни, прославляя одно благо!



Таков Пушкин с природой своего края, — и чей язык поворотится на то, чтоб обвинить его в преувеличении, в идилличности? Таков он и с жизнью, которая, как мы знаем, несла ему не одни радости; таков он с людьми, часто его не понимавшими и часто наносившими его сердцу неотразимые обиды. Не оптимизм, не стремление к розовым краскам увлекали музу Пушкина: и она умела смеяться сквозь слезы над людскими пороками, и она грозно глядела на невежд, издевающихся над треножником, над которым горел священный огонь ее поэзии. Александр Сергеевич, превосходя своих преемников поэзией, превосходил их и силою души. В нашем заключении нет для них ничего обидного, ибо душа Пушкина была душой необыкновенного, развитого, любящего, высокопросвещенного человека. Оттого и труд его так прекрасен, оттого его жизненный опыт не принес с собой горького плода. В горах острова Сардинии есть одна необыкновенная долина, на которой все растения имеют от каких-то недостатков почвы вкус горькой полыни: долина эта сходна с душой многих поэтов, но никак не с душой Пушкина. К этому певцу ни один из поздних потомков не обратится с известными, горькими стихами из гетевского «Прометея»: «Ты хочешь, чтобы я чтит тебя — за какие заслуги стану я чтить твое имя? Умел ли ты отирать слезы плачущих, уменьшать тоску страждущих?» — «Имя Пушкина будет навеки обожаемо миром, ибо он свято выполнил назначение поэта, рассыпая вокруг себя блага поэзии, стихом своим возбуждая светлые улыбки собратий, плача вместе с удрученными и своей веселостью усиливая радость счастливых». Оттого-то и надо нам произнести слово вечной хвалы над прахом нашего незлобного, любящего, великого поэта; оттого нам следует запомнить каждое слово, когда-либо им сказанное, и смело устремиться по его следам, на указанную им дорогу!

Мы, по-видимому, увлеклись в сторону от повествовательной прозы Александра Сергеевича, но, возвращаясь к предмету, о котором начали говорить в начале нашей главы, находим, что отступление наше, несмотря на свой некоторый лиризм, вполне передает те идеи, которые мы намеревались развить более последовательным образом. Деятельность Пушкина, как автора «Повестей Белкина» (с «Летописью села Горюхина»<sup>13</sup>), «Капитанской дочки», «Пиковой дамы» и «Дубровского», кажется нам деятельностью в высшей степени благотворною. Проза нашего поэта есть не только необходимое дополнение к его поэзии, но и предмет полезного изучения для новейших повествователей. Когда Пушкин начал писать прозой, критики его времени, избалованные «красотой слога», находили его прозу чересчур простою. Ныне, может быть, найдутся ценители, готовые признать ее направление идиллическим и даже отклоняющимся от простоты повседневной жизни. Замысловатость, с которой построен каждый из самых

маленьких рассказов Белкина, может быть, кажется чем-то сказочным иному лекисту наших времен. Что до нас, мы думаем, что повести Пушкина вполне оценятся, только когда начнется в нашей литературе законная, безобидная реакция против гоголевского направления, — а этого времени ждать недолго.

## 9

Мы уже достаточно знакомы с частной жизнью Александра Сергеича и оттого можем сказать утвердительно, что для него месяцы, проведенные посреди труда, в Болдине или в селе Михайловском, были истинно сладкими периодами жизни. Оставляя в стороне наслаждения умственным трудом, дружеские сношения с соседями, мы все-таки видим очень ясно, что деревня и природа имели великую прелесть для поэта. Составитель «Материалов» не раз дает нам заметить противное в продолжение своего труда, но его заметки о страсти Пушкина к свету и городскому шуму надо принимать *cum grano salis*\*. Юношеские произведения Александра Сергеича в похвалу городку, уединению, сельской природе и так далее нам кажутся не раздражением чужой мысли, а голосом действительной потребности. На одно стихотворение «Каприз» (*Румяный критик мой, насмешник толстопузый*), изображающее унылую сельскую сцену, мы найдем двадцать, совершенно противоположных по духу. Если Наталья Павловна в «Нулине» видит из своего окна пейзаж, наводящий скуку на сердце, зато Татьяна рисуется перед нами посреди восхитительнейших картин чисто русской природы. Г. Анненков с обычной своей зоркостью взгляда подмечает одно весьма характеристическое обстоятельство. Пушкин, набрасывая многие из своих сельских картин, «подходящие к пестрому сору фламандской школы», сетует на самого себя за то, что быт, далеко противоположный поэзии Байрона и Шенье, тянет его к себе неведомой силой. Но наш даровитый биограф, указывая на строфы из «Онегина», в которых выражена эта мысль, не прибавляет того, что следовало бы к ним прибавить. Пушкин именно велик потому, что умел у Бахчисарайского фонтана вообразить перед собой Зарему, не мечтая о фламандском соре, и впоследствии изображать тихие картины русской природы и находить в них прелесть и не осуждать через это фонтанов с Заремами. Многосторонность душевной восприимчивости ставит Александра Сергеича выше всех наших поэтов. Он воспеваает страну, где пел Торквато, где растут гордый лавр с кипарисом, но не умеет с кислой улыбкой отворачиваться от своей родной Псковской губернии. Поэт

---

\* С некоторой иронией, букв. — «с крупницей соли» (лат.).

крымских берегов не гнушался северной природой, снеговые верхи Кавказа не испортили для Пушкина степей оренбургских и лесистых берегов Волги. У Пушкина всему было место, и душа его была способна давать свой отзыв не на одни только громкие призывы, не на одни яркие картины. Поэт строил свои здания из материалов, находившихся у него под руками, не оставляя идеала для действительности, а действительности для идеала. С Дантом уносился он за дивной покровительницей сурового изгнанника, няню свою Арину Родионовну заставлял он рассказывать себе русские сказки и чудным своим стихом передавал читателю простые рассказы старушки.

<...>

Наш поэт имел все качества, нужные поэту эпическому, не имея, например, всех качеств, нужных драматическому писателю. Образованность Александра Сергеича, о которой мы говорили столько раз, делала для него легкими те задачи, перед которыми в бессилии останавливались менее сведущие писатели. Муза нашего поэта, всегда гибкая, спокойная даже в минуты увлечения, обогащенная всеми дарами жизни, наблюдательности и живой науки, влекла его к повествовательному роду. По некоторым качествам повествователя, как-то: по способности замысла, по обилию поэтического чутья, облагораживающего каждый предмет, взятый истинным повествователем, — Александр Сергеич не имел поэтов себе равных между величайшими поэтами нашего столетия. Если позволено будет здесь употребить термин, обычный в разговоре с живописцах, мы скажем, с полной уверенностью, что по сочинению своих повествовательных вещей Пушкин превосходил и Байрона, и Мура, и Ламартина, и Крэдда, и Вордсворта, и Кольриджа, и Гейне. Смеем спросить, в какой литературе за последние годы можем мы найти план поэмы, подобный плану «Цыган», по своей простоте, замысловатости и возвышенной мысли так тесно слившейся со всею ее постройкою? «Онегин», задуманный в то время, когда наш поэт находился под влиянием Байрона, «задуманный более для отступления, чем для самого рассказа», в целом представляет один из занимательнейших романов, когда-либо приходивших на мысль самым высокодаровитым писателям. Уступая Байронову «Дон-Жуану» во многих частностях, насколько превосходит он эту великую поэму по своей стройности, внешней занимательности, мастерскому сочетанию рассказа с лиризмом, неожиданностью развязки, своему влиянию на любопытство читателя. «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» в этом отношении весьма слабы, но зато Пушкин, — первый из всей публики, видит их недостатки, сознает их *зелеными* произведениями. Прежняя способность к сочинению снова отражается в шуточных поэмах, между которыми «Домик в Коломне» есть совершенство своего рода, и опять

во всей славе является в «Борисе Годунове», в «Каменном госте», произведениях, которые, конечно, должно причислить к поэмам, несмотря на их драматическую форму.

Не надо забывать и того обстоятельства, что с самых первых лет своей поэтической деятельности до последнего ее года включительно Александр Сергеевич непрерывно задумывал эпические произведения, писал начала новых поэм, переводил места из поэм, его особенно поразивших, и постоянно пробовал свои *эпические крылья*, поднимаясь по одному и тому же направлению. Весьма легко, просматривая его попытки, отличить простой этюд от начала вещи, задуманной со страстью. Никто не скажет, что комическая тирада в роде кн. Шаховского, найденная в бумагах Пушкина г. Анненковым, должна была служить краеугольным камнем отличной комедии; но что из отрывка «Кромешник» (или «Опричник») <sup>14</sup> через несколько лет могла создаться поразительная поэма — этого, кажется, никто отрицать не может. Едва ли кто-нибудь возьмется утверждать, прочитав отрывок из «Альфиери» <sup>15</sup>, что Пушкин думал идти по стопам италийского трагика; но великолепное начало «Валленрода» <sup>16</sup>, где описывается Неман, отделявший Литву от владения немецких рыцарей, имеет свою цель и свое значение. Начала поэм, за которые в разное время брался Пушкин, прекращая свой труд и выжидая минут вдохновения, могут составить маленький томик, исполненный великого смысла. Как понимает наш поэт всю поэзию той или другой исторической эпохи, той или другой страсти, того или другого момента из жизни человеческой! Как рвется он душой ко всему трогательному, грандиозному, возвышенному; как налетает он на свой предмет и огненными словами вводит нас в самое сердце повествования! Возьмите начало новгородской повести, о которой мы, кажется, упоминали недавно: «Свод неба мраком обложился» — что за открытие рассказа, что за *mise en scene*! \* Кого не поразит эта картина Варяжского моря, этих суровых берегов, приезд лодки с двумя путниками, их отдых у огня, их характеристика и наружность! Далее, переходя к рассказу старого янычара в отрывке «Стамбул гяуры нынче славят», мы видим ту же громадную способность сочинения, уже окрепшую, уже устанавливающуюся и пророчащую так много! Нет сомнения, что рассказы об истреблении янычар, об этом событии девятнадцатого столетия, по своим ужасным подробностям уносящего наше воображение в эпохи самые отдаленные, — сильно занимали Пушкина, и во время его нахождения при нашем войске, между городами и населенными азиатской Турции, породили в нем мысль несравненной поэмы. Поэма не подвинулась далее начала, ибо, владея великою способностью со-

---

\* Мизансцена, сценическая постановка действующих лиц (*фр.*).

чинения, Пушкин все-таки сознавал, что она еще у него не вполне выработалась. «Египетские ночи» были тоже началом поэмы, о прелести которой мы можем только догадываться, — потребность спешной работы (и, конечно, богатство других планов) побудило Пушкина втиснуть этот отрывок между страницами очень хорошего рассказа, нейдущего к «Египетским ночам», точно так же как «Египетские ночи» нейдут к похождениям г. Чарского.

Сознавая в себе великие способности к эпическому рассказу, сердцем прилепившись к одному известному роду произведений, Александр Сергеевич все-таки сознавал с ясностью, что способность сочинения эпических вещей ему трудно дается. В период прежнего юношеского бесстрашия поэт творил сгоряча, иногда попадая в цель, иногда делая промахи; после «Цыган» набрасывая, например, «Полтаву», поэму обильную красотами всякого рода, но несравненно слабейшую по своей конструкции. В настоящую пору развития сил и строгости подобным путем нельзя было действовать. Одним трудом, и неотступным трудом, поэт стал вырабатывать себе то, в чем он еще нуждался. Народные рассказы, к которым он всегда питал расположение, поразили его последовательной простотой своего изложения. — Пушкин написал несколько сказок, строго держась сказочной бесхитростности, и несколько раз уловил ее в совершенстве. Его «Анджело», составленный около того же времени, грешит сухостью рассказа, но как этюд — вещь замечательная. Сжатость формы, текучесть повествования, бедность поэтических украшений поражают нас и в «Песнях западных славян», переведенных Пушкиным из известной книги Мериме, подделки, породившей столько толков, ничего не доказывающих. Нам кажется, что, по временам, труды в сказанном роде немного утомляли самого Пушкина; так, например, бесподобно передавая поэтическую легенду «Видение короля», он как бы неохотно подступает к другим песням, более бедным поэтической прелестью. В собственных вещах поэта, относящихся к тому времени, но оставшихся без отделки, видим мы то же стремление к сжатости рассказа, но уже смягченное всегдашними красотами.

А между тем рядом с такими работами шли другие: Пушкин рылся в архивах, издавал «Историю Пугачевского бунта», собирал материалы для «Истории Петра Великого» и приступал к изданию «Современника».

## 10

Все почти великие деятели русской словесности были не простыми певцами, но вместе с тем и *учителями* своих читателей, принимая слово «учитель» в его весьма прозаическом смысле. Иначе и быть не может в обществе еще юном, еще недавно призванном к образованию. «Петь



подобно птице», о которой говорит бард у Гёте<sup>17</sup>, можно только посреди народа, изнеженного давним образованием, немного одряхлевшего и нуждающегося в одном лишь умственном развлечении. Там, где масса избранных читателей, по учености своей, сама способна давать советы поэту, — поэт может мыслить только о своем таланте, приноровлять его к требованиям строгих ценителей, не уклоняясь в сторону от пути, им обусловленного. У нас, в России, великие писатели всегда стояли впереди своих читателей, сами образовывали общество, поучая тех, кто жаждал познания, трудясь над самым органом своих песнопений, то есть над русским языком, еще и поныне не вполне установившимся. Им не приходилось петь для самих себя и уединяться вдаль от русского народа, к вершинам Геликона. Ломоносов не посвящал оде всей своей жизни — он обрабатывал русскую грамматику, набрасывал исторические заметки, думал о русском театре, занимался естественными науками. Карамзин не отдавался одному какому-либо роду деятельности, но прерывал лучшие труды свои для того, чтоб сеять вокруг себя благие начатки образования, знакомить современников с ходом иностранного искусства, указывать писателям новые пути и руководить их своим примером. Жуковский делал то же самое, хотя не издавал ни журналов, ни критических трактатов — своими переводами он привлекал внимание читателя к чудесам немецкой и британской словесности, знакомил его с законами новой драмы, в то же время пробуждая нашу дремлющую критику, посредством вопроса о *романтизме*, как его понимали в то время. Пушкин в этом отношении остался, по самому ходу вещей, совершенно верен системе своих предшественников. В дидактическом своем влиянии на русскую публику он соединял в себе Карамзина с Жуковским, подобно второму действуя через прямое влияние примера и, по методу Карамзина, входя в более прямое соотношение с своим читателем. Лирик и историк, переводчик и романист, эпический поэт и повествователь, Пушкин представил России драгоценные образцы деятельности во всех родах, даже ему не симпатических. Но одних образцов оказывалось недостаточно — развитие вкуса в массе читателей шло слишком медленно, по убеждению нашего поэта. Пушкин нашел возможность посвящать часть своего времени деятельности другого рода. Подобно Карамзину, в лучшие годы его деятельности, Александр Сергеевич находил время на журнальное сотрудничество, на рецензии, заметки, этюды, очерки, сатиры против того направления словесности, которое казалось ему ошибочным. Ни промахи нашей критики, ни личности задорных противников, ни детская неразвитость журнальных деятелей, не были способны отклонить поэта от прямых бесед с публикой. Мысль об издании газеты или журнала в роде английских трехмесячных обзоров преследовала Пушкина в последние десять

лет его жизни. Смешно было бы утверждать, что автор «Медного всадника», всегда нерасчетливый и всегда нуждавшийся в деньгах, не видал денежной стороны во всем вопросе, а руководился только одной идеальной потребностью просвещать читателя. Но утверждать, что Пушкин имел в виду одну корыстную цель, — было бы и смешно, и недостойно. Журнал, в то время, не мог давать больших доходов. Вся предшествовавшая деятельность Пушкина показывала в нем человека чуждого всем мизерным расчетам. <...>

## 11

«Русалка», «Галуб» и «Медный всадник» представляют последнюю грань, до которой достиг талант Пушкина, а читатель хорошо знает, что из трех названных нами произведений только последнее дошло до нас конченным, да и то напечатано после смерти поэта, — значит, без окончательных поправок, какие Александр Сергеич мог бы ему придать, по своему усмотрению. Несмотря на тот вид, в каком дошли до нас названные три произведения, какой читатель не преклонится перед этими тремя памятниками могучего творчества, не преклонится в немом благоговении, сказавши вместе с издателем разбираемой нами биографии: «это не окончание поэтической деятельности, но скорее начатки чего-то великого!» «Пушкин начинал тяжело», — говорит нам г. Анненков. «Как дуб, предназначенный на долгое существование, он вначале развивался тихо, раскидывая ветви свои, с каждым годом, шире и шире». Нельзя не согласиться с таким замечанием, пересматривая посмертные вещи великого поэта нашего; нельзя не подивиться правильной последовательности пушкинского развития; нельзя не сознать всей душою той неоспоримой истины, что в Александре Сергеиче готовился миру поэт высочайшего разбора, родной брат Байрону, Гёте и, может быть, Шекспиру. Деятельность последних лет его жизни, не есть деятельность певца местного, просто талантливое, предназначенное на славу в одном только крае и в одном только столетии. Под «Медным всадником» и одновременными с ним произведениями — величайший поэт всех времен и народов, без стыда, может подписать свое имя.

Есть своего рода прелесть в неконченной картине великого мастера, обильное поучение таится в творениях поэтов истинных — творениях, ход которых прерван безжалостной смертью. Здесь иногда недостаток законченности выкупается личностью самого труженика, не умевшего укрыться от глаз его поклонников, между тем, как отсутствие полной обработки позволяет нам глубже проникнуть в процесс самого творчества. Знаменитейшие из произведений Пушкина, изданные в первый раз после смерти поэта, подобны статуям гениального ваятеля, по которым

еще не прошел инструмент полировщика, и в которых иные подробности еще не отделаны самим художником. Сколько сокровенных черт вдохновенного резца открывается перед нами: как великолепен вид самого матового, иногда угловатого мрамора! Какою особенною свежестью дышит все произведение, над которым его отец, кажется, еще сию минуту трудился! Поспешим же окинуть внимательным взглядом труд, нами упомянутый, и, по мере сил наших, проследить за последним проявлением гения в нашем гениальном учителе.

Во всех трех поэмах (само собой разумеется, что «Русалку» мы не намерены называть иначе, как поэмою) способность замысла, всегда так блистательная у Пушкина, достигает своего апогея. По *сочинению* «Медного всадника», «Галуба» и «Русалки» Пушкин велик как никто; долгий труд и работа над эпическими произведениями принесли за собой роскошный плод; плод, так давно ожидаемый. Если «Медный всадник» так близок к сердцу каждого русского, если ход всей поэмы так связан с историей и поэмой города Петербурга, — то все-таки поэма в целом не есть достояние одной России: она будет оценена, понята и признана великой поэмою везде, где есть люди, способные понимать изящество. Передайте «Медного всадника» на какой хотите язык, прозой или стихами, с комментариями или даже без комментариев, — и будьте уверены, что ваш труд не пропадет напрасно. Тут важна не одна гармония стиха, не один местный колорит.

Шекспир все-таки Шекспир и в переводе Летурнера<sup>18</sup>; Бернс прекрасен и в прозе; а мы не верим в величие местных поэтов — поэтов одного уголка — поэтов, о которых не знает никто, кроме их соотчичей. «Медный всадник» есть вещь общедоступная, произведение европейское. Он изобилует совершенствами всех родов, начиная от своего величавого начала до последней неслыханно грандиозной сцены: когда гигант на бронзовом коне скачет за несчастным юношей, потрясая мостовую копытами металлической лошади, и в бледном сиянии луны простирает вперед свою грозную руку! Смелость, с которою поэт сливает историю своего героя с торжественнейшими эпохами народной истории, — беспредельна, изумительна и нова до крайности, между тем как общая идея всего произведения по величию своему принадлежит к тем идеям, какие рождаются только в фантазиях поэтов, подобных Данту, Шекспиру и Мильтону!

«Медный всадник» имеет и свои недостатки — скажем это с полной смелостью, но этими недостатками отчасти подтверждается величие самого поэта, ибо тот, кто по красотам поэзии возносится в разряд мировых деятелей, и судим должен быть не по общепринятому снисходительному кодексу. Мы сказали уже, что смелость, с которою Пушкин противопоставил судьбу своего бедного мальчика Евгения с судьбой нашего родного

Петербурга и памятью великого Преобразователя России, заслуживает удивления, но нам следует добавить, что поэт, извлекая десятки красот из своей необыкновенной темы, по временам чувствует как бы неловким свой поэтический замысел. Предварительный труд Александра Сергеича, отчасти переданный нам его биографом, ясно показывает замешательство, про которое мы сейчас говорили. Начало поэмы, сохраненное в мелких стихотворениях, под названием «Родословная моего героя», есть отрывок из «Медного всадника». Несколько других отрывков, без жалости отброшенных Пушкиным, свидетельствуют о его желании яснее обрисовать Евгения и вместе с тем о труде, какого ему стоила личность молодого человека. В этом отношении дух анализа, такт критика, так сильно развивавшиеся в Пушкине вследствие его недавних этюдов, по временам не дают воли его творчеству. Оттого Евгений бледен как лицо, и лицо такой великой поэмы, где все ясно, определено, пропитано поэзией, доведено до крайних пределов изящества. Г. Анненков на стр. 383 своих «Материалов» говорит нам: «Иначе и быть не могло. При описании катастрофы, которая одна должна занимать читателя без всякого развлечения, всякая остановка на частном лице была бы приметна и противохудожественна. По глубокому пониманию эстетических законов, Пушкин даже старался ослабить и те легкие очертания, которыми обрисовал Евгения». Не скроем нашего заключения: подобные строки были прекрасны в устах панегириста, но никак не ценителя. Несмотря на все благоговение к памяти Александра Сергеича, мы смело упрекаем его Евгения в бесцветности. О том, что можно и должно бы было выйти из Евгения, может только судить поэт, подобный Пушкину. Ни наши предположения, ни наши объяснения, ни наши панегирики не могут иметь места там, где высказываются гениальные люди, из ничего творя жизнь и образы.

Поэма «Галуб», начатая в 1829 году, неконченная и напечатанная только после смерти Пушкина в его «Современнике», опять поражает нас великолепием основной мысли. История отрока, воспитанного посреди народа, с которым и его характер и требования нравственной природы вполне расходятся, долго занимала нашего поэта и не могла остаться без окончания, подобно многим другим блистательным замыслам. Мы знаем, что Александр Сергеич имел одно время в виду план романа из старой русской истории, романа, основанного на подобной же счастливой мысли, — но эпическое начало преодолело, а вторая поездка на Кавказ, столь любимый нашим писателем, поселила в его голове мысли еще более глубокие, еще более поэтические. Об исполнении оконченных частей Галуба мы не будем распространяться: и прелесть произведения и его артистическая отделка всеми беспрекословно признаны.

Но о «Русалке» мы умолчать не можем, хотя все ее достоинства давно уже нашли себе восторженных пояснителей. Тут мы видим Пушкина на одной дороге с Шекспиром, за готовым, вычитанным планом, за простой легендой, за сказочкою, многими поколениями слушанной до нашего поэта, за одною из тех простых тем, о которых сотнями сокрушают себе крылья художники не первоклассные. И несмотря на неимоверную трудность задачи, все произведение дивит нас как замыслом и сочинением, так и высокой гармонией подробностей. Поэзия, которой проникнута вся «Русалка», от первой строки до последней, — беспредельна, как горизонт небесный; читая всю поэму, человек испытывает нечто подобное тому чувству, с каким мы смотрим на небо в ясную ночь, когда звезда за звездой открывается внимательному глазу и бесконечные, поражающие пространства с каждой минутой открываются перед созерцателем. Нужно много слов для того, чтобы перечислить красоты поэмы, но если мы захотим анализировать эти красоты, определить их сущность, — слова покажутся слабыми. Анализировать поэзию «Русалки» нам кажется труднее, нежели давать отчет о прелести удачнейших музыкальных произведений Мендельсона. В этом посмертном творении Пушкина находим мы все, что составляет прелесть поэм бессмертных и первоклассных — величественную стройность целого, безукоризненную прелесть в малейших подробностях, силу замысла, роскошь фантазии, простоту и общедоступность плана, а наконец стих, действующий на нас, подобно великолепной музыке, уносящей душу читателя в тот заповедный мир, где самые звуки простых слов рождают собой и мысль и рой поэтических образов.

В «Русалке» Пушкин весь отдается *романтизму* (принимая это слово в том смысле, как его понимал Александр Сергеевич) и, избравши себе тему из древнего славянского мира, не стесняется ни историею, ни сценическими условиями, ни правами своих действующих лиц. Его славянский князь бродит по берегам, бывшим свидетелями счастливой любви, и вспоминает о своей возлюбленной; молодая мельничиха гибнет смертью Офелии, и отец ее произносит речи, исполненные шекспировской силы. По-видимому — что за романтические описания, что за романтическое обхождение с своими героями! Но, не защищая романтизма, в том значении, какое ему придавали близорукие поклонники Шлегеля и второклассные германские поэты, и русские поэты, жившие в одно время с Пушкиным, мы должны сказать, что певцы высокоталантливые, и в числе их автор «Русалки», имели свою теорию романтизма, не вполне высказанную ими самими, но проявляющуюся в их лучших творениях. По их идее, в слове романтизм заключалась вся вдохновенная, поэтическая сторона жизни с ее нежностью и обаятельной прелестью, сторона, почти убитая поэтами



XVIII столетия, скованная ложным классицизмом, но существовавшая всегда и только забываемая на время. Древнейшие и величайшие поэты были романтиками беспрестанно, не делаясь оттого фантазерами и не вредя правде своих произведений. Гомер, описывая прощание Гектора с Андромахой или видение Ахиллеса на берегу моря, является романтиком. Софокл был романтиком в последних сценах «Антигоны»; Данте — описывая смерть Франчески или свое свидание с бесплотною Беатриче; Шекспир — во всех почти своих драматических произведениях; Тасс и Ариост — в поэмах. В романтизме нам надо видеть поэзию из поэзии, высший полет вдохновения, не фантазию и не действительность, а какой-то волшебный рубеж, на котором и действительность и фантазия сливаются в нечто целое, прекрасное и сверх того правдивое. Маркиз Поза<sup>19</sup> не мог, судя по истории, говорить суровому Филиппу того, что говорит он ему у Шиллера: а между тем Шиллер верен поэтической истине. Ахиллес мог любить своего Патрокла и видеть его тень во сне, хотя перед своим сном он влачил по полю тело героя Гектора и дико издевался над павшим противником. Историк может говорить нам, что люди известной эпохи были грубы, дики и даже глупы, — но поэт имеет право открывать в них высоко поэтические стремления и быть правым настолько же, насколько прав и противоречащий ему историк. Раз добравшись до сокровеннейших струн сердца человеческого, поэт находится в области, ему принадлежащей, и может смело идти по пути, им избранному. Натура человека всегда одинакова; поэзия жизни во всех веках одна и та же, только надо быть истинным поэтом и иметь великую силу на понимание природы человеческой.

Великая сила Пушкина вся сказывается в «Русалке» — образцовом творении по своей правде и своей поэзии. Глубокою, тонкою, обольстительною прелестью исполнены все действующие лица поэмы, со всем тем оставаясь верными своей эпохе, своим характерам. Любовь, измена, последнее свидание князя и девушки, свадебные сцены — как все это в одно время и верно и пленительно! Но по мере того, как произведение расширяется, начинаются страницы беспримерные как по своей обаятельности, так и по тонкости поэзии, их проникающей. Великолепно двигается вперед поэма, и совершенства ее возрастают с каждым стихом, до тех пор, когда после превосходной сцены русалок на пустынный берег является сам князь, увлекаемый к грустному месту неведомой силою и одним из самых поэтических порывов души человеческой — воспоминанием о счастливой прошлой любви, разрушенной временною изменою...

О том, что разговор князя с мельником достоин шекспировского гения — было уже не раз замечено русскими критиками.

Стихи, которыми написана «Русалка», по совершенству своему до такой степени превышают все писанное мастерами дела у нас, что мы, поневоле, должны будем их сравнивать с белыми стихами тех иностранных поэтов, которые сделали из такого стиха лучший орган для передачи многих из своих вдохновений. Белый стих Байрона, в «Манфреде», драмах и некоторых поэмах решительно уступает стиху Пушкина; стих Вордсворта — превосходный по временам — всегда почти испорчен стремлением поэта к картинности — стремлением, какого нет у Александра Сергеевича. Кроме Гёте и Мильтона с Шекспиром мы не знаем поэтов, которых белый стих мог бы идти рядом с бесподобным стихом, которому мы не можем достаточно надивиться, читая «Русалку» Пушкина.

Вот на какой ступени, по глубокому убеждению нашему, стоял народный русский поэт, имея тридцать семь лет от роду, в тот самый год, когда смерть пресекла его жизненное поприще.

## 12

Недавно мы говорили об одном литературном предрассудке нашего времени, а именно о малой вере в могущество труда; теперь же — заключая статью о Пушкине — нам придется указать на другой предрассудок, имеющий некоторое сходство с сказанным заблуждением. И публика наша, и даже иные из пишущих людей почему-то думают, что дело поэзии неразлучно с юным возрастом производителя, или, говоря другими словами, что лучшая пора для поэта истинного — есть период его молодости. Из числа тысяч, рыдавших над прахом Александра Сергеевича, огромное большинство почитателей оплакивало в нем *поэта прошлых произведений*, блистательного деятеля на литературном поприще, человека прекрасного душою, но никак не певца, которому, быть может, смерть не дала сделаться русским Шекспиром или Мильтоном девятнадцатого столетия. Пушкину было тридцать семь лет, а его прошлая деятельность казалась даже его близким друзьям деятельностью полною, почти законченною, совершенно соразмерною со способностями, в нем таившимися. Пламеннейшие из читателей поэта, говоря друг другу «сколько песен унес он с собою в могилу», имели в виду песни, подобные *прежним* песням Пушкина; о песнях мировых, перед которыми побледнели бы песни пушкинской молодости — едва ли кто решался думать. Покойный поэт переступил еще перед смертью Дантовскую *mezzo cammin di nostra vita*\*<sup>20</sup>; ему было тридцать семь лет — и назвать Александра Сергеевича поэтом

---

\* Середина нашего жизненного пути (*ит.*).

начинающим мог один только грубый невежда. А между тем он был поэтом начинающим. Он заканчивал свою деятельность, как великий поэт одной страны, и начинал свой труд, как поэт всех веков и народов. Ему было тридцать семь лет: Данте в тридцать семь лет от роду только что обдумывал свою поэму «Divina Comedia»\*. Для плеяды великих поэтов пора зрелого возраста есть пора начинания. *Из числа громадных произведений древней и новой поэзии ни одно не написано юношей.* <...>

Гомер, Дант, Шекспир, Сервантес, Ариост, Гете, Мильтон — разве это юноши, разве это не старцы, убеленные сединами? Всюду седина и всюду морщины, даже на поэтах любви и веселия: Анакреон, Рабле, Беранже не представляются нам юными певцами! Поодаль от несравненной плеяды представляется нам сонм зрелых людей, не успевших свершить своего поприща, слишком рано отозванных небом от их плачущих собратий, — и впереди этих певцов, погибших преждевременно, мы различаем троих поэтов, юношей в сравнении с их великими предшественниками: Байрона — Ахиллеса искусства, Шиллера — вечного юношу, и нашего Пушкина, унесшего с собой в могилу последнее слово своей поэзии. Уступая обоим из названных товарищей значением своих первых трудов, наш соотечественник превышает и того и другого залогами своего будущего значения. Если молодость Александра Сергеевича не создала ничего подобного «Гарольду» и «Вильгельму Теллю» — зато в его посмертных тетрадах остались «Медный всадник», «Галуб» и «Русалка».

Раз решившись смотреть на поэзию, как на дело всей жизни поэта, раз согласившись принимать юность писателя за период его приуготовительных трудов, мы без труда увидим, до какой степени станет ясен весь вопрос о значении Пушкина в словесности. Отзывался ли голос нашего поэта в сердцах его сограждан? Услаждала ли его муза наши досуги, разъясняла ли она перед нами все светлые стороны жизни, истолковывала ли она нам те смутные порывы душ наших, какие мы ощущаем в лучшие минуты нашего существования? Голос всей России отвечает на такие вопросы утвердительно. Таился ли в последних трудах Пушкина зародыш чего-либо великого? Шло ли вперед его дарование, поднималось ли оно на высоты, доступные только поэтам, за которыми потомство утвердило титул первых между первыми? Автор разбираемой нами биографии не изъявляет в том ни малейшего сомнения, все строгие ценители искусства подтверждают его приговор единогласно.

Остается, стало быть, решить еще одно сомнение. Иногда громадные таланты носят в себе зародыш своего будущего падения, а сами поэты

---

\* «Божественная комедия» (ит.).

лишают себя славы вследствие праздности, ложного взгляда на искусство, малого уважения к своему собственному признанию. Имелось ли в даровании или характере Пушкина нечто подобное сказанному гибельному зародышу? Положа руку на сердце, с чувством полного беспристрастия, мы можем сказать — «не имелось». До последнего дня деятельности Пушкина как поэта его талант крепнул и разрастался. Труд благородный и упорный был жизнью для Александра Сергеевича. Никогда не был он сам поклонником какой-либо теории, вредной для искусства, как бы она ни была блистательна и скоропреходяща. Он уважал своих сверстников по литературе, уважал своего читателя и собственное свое звание русского поэта не променял бы ни за какие сокровища. Смерть поразила в Пушкине литератора истинного, одаренного всеми качествами величайших писателей и не имевшего в себе ни одного почти недостатка из числа недостатков, неразлучных с этим званием.

Бесполезно сетовать на событие совершившееся и бесплодным сожалением портить себе настоящее благо. Вполне сознавая, что в Пушкине готовился поэт *европейский*, что ранняя смерть отняла у него место возле Данта, Шекспира и Мильтона, мы не желаем унижать и того, что уже было сделано *нашим* начинающим Пушкиным. Воспоминание о тех высотах, на которые в последние годы заносился гений поэта, да не вредит верной оценке для всей его деятельности за все поприще. И пусть сердцу знакомый образ рано умершего певца вечно носится перед нами не в виде грандиозного, туманного, неопределенного видения, но в образе вечного юноши, каким он сошел в преждевременную могилу!

